



Деколонизация городского пространства: ТОПОНИМИЯ

Импульсом для обращения к понятию деколонизации стало исследование вопроса о том, почему радикальный пересмотр советских мифов мало затронул микро-топонимию (годонимы) в «старых» сибирских городах. В молодых городах, возникших в советское время, где соответствующие топонимы не просто доминируют, а зачастую не предполагают альтернатив, значимых дискуссий по этому поводу не зафиксировано. Городская идентичность сочетает в мифе о рождении образ эпохи, которой город обязан возникновением, и локальную историю «великой стройки», нового города. В этом случае город находит в советском топонимическом репертуаре адекватное выражение. В старых городах дискуссии возникают: преобладание советских годонимов здесь не выражает, а подавляет городскую идентичность, заполняя, прежде всего, исторические центры, в которых тотальные переименования были произведены в начале двадцатых годов. И, тем не менее, за двадцать постсоветских лет десоветизация городской топонимии в старых сибирских городах – не правило, а исключение, хотя вопрос радикально ставился уже в период кризиса советской исторической мифологии.

Советские названия не создают семантического богатства – в них мало советской истории. Советская топонимия в городах формировалась несколькими волнами – первая волна, самая значительная, в начале 1920-х годов была намеренно тенденциозной, несколько последующих лишь корректировали вычеркнутыми (особенно, в конце 1930-х и конце 1950-х) и дополнениями меморативный список, созданный в начале двадцатых. Новые имена появлялись за редким исключением в новых районах.

В Иркутске советский порядок в топонимике был введен постановлением горисполкома от 5 ноября 1920 года. Были присвоены новые имена взамен исторически сложившихся 4 предместьям, 3 площадям, 2 садам, 1 скверу, 59 улицам и переулкам¹. Подход, который определял репертуар новых топонимов, был аналогичен тому, который сформулирован в протоколе заседания президиума Енисейского губисполкома от 21 февраля 1921 года: «переименовать в 3-х дневный

срок в революционном духе все улицы г. Красноярска»². Предельно сжатые сроки и тотальность процедуры переименования означали радикальное противопоставление новой топонимии старой. «Революционный дух» – идеологический характер новых названий, они должны быть знаками большой Истории, соответствующими революционному мировоззрению.

Репертуар названий создает впечатление случайного в пределах ограниченного выбора. Например, трудно понять, как формировался ряд, представляющий художественную культуру. В постановлении 5 ноября 1920 г. было три писательских фамилии: Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Горький. Никто из них в Иркутске не бывал и произведений об Иркутске не писал³. Или, например, в иркутской топонимии сразу двум объектам – улице и предместью – было присвоено имя Марата, в Омске из деятелей Французской революции также отмечен только Марат (но единожды), а в Красноярске кроме Марата был увековечен Робеспьер. В Иркутске появились улицы Фурье и Лассала, в Красноярске улица Бебеля, в Томске и Тюмени закрепили память о Сакко и Ванцетти, никак не отмеченных в топонимии Иркутска, Красноярска, Омска. В Омске, Иркутске и Томске вспомнили Степана Разина, но ни в одном городе инициаторы переименований не сочли нужным присваивать какой-либо улице имя Емельяна Пугачева. Не всякое имя годилось, был риск, что присвоенное имя окажется «неправильным» – страна собиралась под единым властным центром. Представители новой власти «на местах» репертуаром имен и понятий утверждали историческую легитимность своей власти и ее монополию на официальную номинацию. В остальном репертуар был достаточно случайным. Семантика ограничивалась горизонтом революционного мировоззрения – она могла быть выразительной, но неизбежно монотипической. Этот стиль, соответствующий «революционному духу», можно определить как «стиль большой Истории»: герои, события, идеологические понятия. Он обеспечивал преобладание имен, связанных с революцией и войной, над остальными – например, из мира искусства и литературы.

текст и фото
Михаил Рожанский

Сокращенная версия главы из монографии «Сибирь как пространство памяти» (Иркутск: Оттиск, 2013)

¹ Полный текст постановления см.: Рожанский М.Я. Память, выбирающая псевдонимы/ Свободная мысль, 1992 г., No 1, сс.82-85.

² Копия фрагмента протокола размещена: <http://www.krasplace.ru/starye-i-sovremennye-nazvaniya-ulic-krasnoyarska>

³ Салтыков-Щедрин использовал иркутские летописи среди других как источник для «Истории одного города» (но об этом не могли знать авторы Постановления)

Почему тех, кто раздавал имена, не устраивало то или иное старое название, рассматривать не имеет исследовательского смысла. Не устраивало уже то, что названия старые. Не только названия, которые в постреволюционной России приобрели идейную нагрузку, как например, Казарминская или Графо-Кутайсовская, но и идеологически нейтральные Луговая или переулок Театральный не сохранялись. Любое безыдейное название могло звучать идеологически чуждым. Среди новых названий в Иркутске можно зачислить в «безыдейные» только Детский парк и улицу Детскую, но и то с оговорками, поскольку забота о детях была заявлена советской властью как идеологическая позиция (прилагательное «детский» появилось и в топонимии других городов). При переименовании стигму ущербности приобрело не только прошлое, стигматизировалась и повседневность. Переименованием подчеркивалось, что она подлежит коренному изменению, как нечто, неподчиненное идее, как чужой, вредный, опасный мир. Смена имен была не только учреждением мест памяти. Прежде всего, она была утверждением нового мира – повседневность наделялась правильными идейными смыслами. Так утверждалась идеократия – власть, действующая от имени идеологии и утверждающая исторические смыслы как санкцию своих действий.

Безоговорочное отнесение советской микротопонимии к исторической памяти игнорирует несколько существенных обстоятельств. Во-первых, советская топонимия доминирует в исторических центрах, сложившихся до советской эпохи, и, благодаря этому доминированию, противостоит истории города. Во-вторых, имена улиц, которые казалось бы, должны настойчиво напоминать о советской эпохе, не реконструируют ее, а вырывают из исторического процесса. Лишенные контекста, они не провоцируют эмоционального отношения к себе, лишены объемности – познавательного отношения. Тотальность советского переименования радикально оборвала связь времен: отменила право досоветского прошлого быть настоящим, придала ему статус неподлинного, ущербного, но советскую топонимию наделила большой степени условности, неукорененности в повседневности и/или в истории. В случае «возвращения имен» будет упразднена стилистика «революционного духа», точнее, знаки, оставленные им, но ведь и сам «революционный дух» иссяк в этих именах, поскольку не находился в диалоге с чем-либо неревolutionным.

Пьер Нора выделяет три формы памяти, превалировавших в разные периоды истории: «память-архив», «память-долг» и «память-дистанция» (освещение прерывности, взгляд из настоящего на прошлое)⁴. К каждой из этих форм, по сути, и апеллируют сторонники сохранения советской топонимии, хотя сам топонимический репертуар способен выполнять лишь функцию архива и то не полноценно. Для того, чтобы выполнять функцию долга перед прошлым или помогать осмыслению прошлого из настоящего, топонимия оказывается недостаточно живой.

Сведение топонимии к архиву – расплата за идеократию, за дистанцирование от локального пространства человеческой жизни и от повседневности, за дидактику по отношению к прошлому.

Имперская амнезия. Объясняя привычку к советским топонимам, важно помнить, что у подавляющего большинства людей, живущих в больших сибирских городах (и в Иркутске, в том числе), история семьи связана с городом исключительно в советский период.

Но степень близости-неблизости пространства – насколько человек готов принимать его как «свое» – определяется не только стажем жизни в данном городе. И здесь мы сталкиваемся с социокультурными явлениями, хронологически не вписывающимися в советскую историю. Проблемы отношений между человеком и пространством являются как следствием российской истории, так и одним из определяющих ее факторов. Его невозможно игнорировать, анализируя, в том числе, причины возникновения, принятия и ограниченности того, что называют теперь «советским проектом». Речь о тех особенностях отношения к миру, которые присущи участнику экстенсивного развития этноса. Советский проект был решительным разрывом с прошлым, а подобные рывки в истории России, желание «начать все сначала» понятно и близко людям, самим начинающим жизнь заново на новом месте. Можно отнести насаждение беспамятства на совесть новых революционных властей. Но культурная амнезия – не умысел большевиков, а почва как для рождения их идей и стремлений, так и для их восприятия. Обычай «начать все сначала» – это и безразличие человека к прошлому того места, на которое он пришел, чтобы его преобразовать и/или в нем укрыться, но это и разрыв с прошлым и с тем местом, откуда ушел, сбежал, был изгнан. Здесь серьезные основания для того, чтобы после мировой и гражданской войн идеократия была не только насаждена, а востребована как средство поддержания имперской (ставшей «советской») идентичности. Идеи, от имени которых осуществлялась власть, оформляли чувство причастности к стране, к государству, к истории, к некоей большой общности, когда разрушены и находятся под подозрением все общности «малые» – от семьи до этноса. А поскольку идеократия, таким образом, оформляла новый виток внутренней колонизации страны, то в не органично вписывался и большой «сибирский миф», рожденный предыдущими веками «русской Сибири».

Человек, живущий в Сибири, видит в качестве собственного прошлого «большую историю». Вот ее несущие конструкты:

- а) пафос свершений – вместе с Русью за Урал пришло могущество;
- б) в Сибирь шли или попадали лучшие – самые отважные, стойкие;
- в) жизнь в Сибири формировала лучшие человеческие качества;
- г) сибирский человек приходил на выручку стране, когда нужны были стойкость, выдержка, решительность.

Исторический образ Сибири и сибиряков предельно устойчив. Несмотря на противоречивость, он не предпологает оспаривания. Его устойчивость обеспечена воспроизводством вышеуказанных несущих конструктов, человек привязан к мифологии, которая придает особую значимость его переходу или переходу его предков в сибирскую жизнь. Мифология государства, узурпирующего заслугу сохранения единства этого пространства, также принимается человеком с сибирской идентичностью, поскольку мифология перехода (который часто был бегством от государства) и мифология настигнувшего тебя (твоих предков) государства находятся в органичном единстве – они наделяют друг друга значимостью.

Противоречия образа Сибири помогают сибирской идентичности пройти крутые повороты истории. Пазлы могут меняться – общая картинка при этом сохраняется благодаря уникальной оптике. И как бы радикально не

менялись эпохи, она остается без изменений: взгляд из большой истории, привязанность к ней.

Доминирование большой истории в представлениях людей о прошлом – не только результат «исторического» образования, но и симптом отсутствия прочной связи человека с историей того места, в котором он живет. Нарушен баланс между временем и пространством, между памятью-державой и личной памятью, а большая история выполняет важную компенсаторную функцию. «Второсортность» жизни на периферии «большой» и «настоящей» компенсируется отдельными случаями причастности к этой жизни – к большой истории, литературе, политике и т.д. Выражение городской идентичности через принадлежность к большой истории приводит к тому, что городская идентичность презентует себя имперскими знаками. Особенно хорошо это видно на монументальной скульптуре, и Иркутск дает насыщенный образец такого семантического поля, причем, и в дореволюционных (в том числе восстановленных), и в советских, и в постсоветских памятниках⁵. Имперский характер советской топонимии – и годонимы, и названия городов, поселков, имена, данные предприятиям – менее выразителен, чем имперскость советской архитектуры или монументальной скульптуры. И не только в силу разных возможностей слова и пластики, но и благодаря слабой исторической динамике на протяжении советской истории. Имперский характер советской топонимии проявляется более всего в унифицированности – в том, что центральные улицы в городе Иркутске носят те же имена, что и в станице Вешенской. И поскольку эта топонимия, благодаря советскому периоду, оторвана не только от истории и повседневности города, но и от его места в «большой истории», то в очень ограниченной степени претендует на выражение городской идентичности.

Новые топонимы практически не соотносились не только с историческими названиями, но и с историей города как таковой. Исключениями в Иркутске можно считать площадь Декабристов, улицу Декабрьских событий, названную так в память о боях декабря 1919 года, и пять улиц, получивших фамилии большевиков – героев и жертв двух революций и Гражданской войны в Иркутске и Сибири (Бабушкин, Боград, Лазо, Гусаров, Шевцов), всего семь топонимов из шестидесяти девяти. Не намного больше доля «местных» (даже относительно местных) имен в списках переименований, проведенных в начале двадцатых годов в других больших сибирских городах – Томске, Омске, Тюмени, Красноярске, Енисейске – или, например, в Уральске или Челябинске.

В феномене советского тотального переименования присутствовали еще и управленческие основания, санкционирующие тотальность – власть исполняла функцию упорядочивания, регламентации. И до этого власти вмешивались в топонимию. Обычно это был выбор между разными существующими версиями, чтобы назвать улицу на плане города. Таким образом, топоним оформлялся документально, то есть регламент взаимодействовал со стихией повседневной речевой практики. Иркутский историк Р.В. Попова выделяет три этапа формирования топонимии в родном городе: «I этап – народный – от появления первых годонимов до 1870-х годов; II этап – народно-административный – от 1870-х до 1920 года; III этап – административный – после 1920 года»⁶. Регулирование топонимии было назревшей административной задачей. В Барнауле, например, первые массовые переименования были проведены на рубеже веков. Точнее было

бы определить процедуру, проделанную в сибирских городах примерно с конца 1919 года (Омск) до 1922–1923 годов, не как переименование, а как административное утверждение названий при игнорировании или идейной корректировке исторически сложившихся (Красноармейские вместо Солдатских, Красноказачья вместо Казачьей в Иркутске). Во всяком случае, если и требовалась замена табличек, то не в очень большом количестве – таблички только вводились в обиход. Но административная задача в условиях утверждения новой, идеологической власти, стала одновременно дидактической.

Формула «присвоение наименования» воспринимается на слух как плеоназм. Почему недостаточно одного отлагольного существительного «наименование», вносит ли дополнительные смыслы второе – «присвоение»⁷? Имя не просто дается, оно присваивается объекту, делается акцент на факт распределения «сверху», награждения, отчисления. Этот акцент стал нормой именно в советской микротопонимии и привел к доминированию годонимов в родительном падеже – улица (имени) Ленина, парк (имени) 26 Бакинских Комиссаров, площадь (имени) Труда. Улица, площадь, парк, канал награждаются именем героя / героев, события, идеологического понятия. Герой, событие, символ награждаются улицей, площадью, переулком. Наименование улиц оказывается не просто функцией власти и ее прерогативой, но еще и указанием на ее исключительное право – не только на право называть, но и распределять почести. Утверждение этой прерогативы и ее смыслов делает процедуру на / переименования недемократической: во-первых, упраздняется обычное право естественного формирования названия (через повседневные практики); во-вторых, власть берет на себя дидактические функции. Эта недемократичность в какой-то мере компенсируется «демократическими» процедурами: актами общественного волеизъявления («в связи с обращениями граждан», «по инициативе трудового коллектива» и т.п.), общественными дискуссиями о названиях (как правило, уже присвоенных), формированием комиссий по топонимике. В подобной «обратной связи» присутствует не только имитация демократии, но и реальная необходимость считаться с мнением горожан, поскольку решение власти вторгается в повседневные речевые практики и может оказаться отторгнутым и/или вызвать непредсказуемый идеологический эффект. Классический пример – опрометчивое переименование Невского проспекта и Дворцовой площади, проигнорированное речевой практикой (в устных воспоминаниях приводятся даже случаи демонстративного саботажа). Есть аналогичные примеры и в советском периоде истории Иркутска. И, конечно, наиболее острые случаи отторжения возникли, когда акт переименования воспринимался как колониальный. В позднее советское время такой эффект вызвали переименования Ижевска в Устинов, Набережных Челнов в Брежнев. Как колониальные были заменены микротопонимы в городах бывших республик СССР. Но, по сути, в каждом случае, когда присваиваемые имена никак не связаны с местностью и ее историей, акт наименования может быть оценен как колониальный (без идейных коннотаций этого прилагательного).

Политика «возвращения имен» стала легитимной после переименования Ленинграда, санкционированного результатами референдума, и фронтального возвращения старых названий московским улицам и станциям метро⁸. Радикальное переименование в

⁵ См. Рожанский М.Я. Имперский воск Семь историй из жизни иркутских памятников/ «Неприкосновенный запас» 2010, №2 (70).

⁶ Попова Р.В. Годонимы Иркутска в пространстве городской культуры// «Тальцы», 2006, №2, сс. 48-53.

⁷ Формула закрепилась в административной практике и сейчас является обычной – в названиях постановлений, комиссий, комплексных программ.

⁸ Заметим, что именно переименования в метрополитене для населения страны, которое ориентируется в Москве по схеме метро, заострили вопрос о целесообразности переименований – в метро надписи с бывшими названиями ясности не прибавят.

столицах помогло избежать бесперспективных дискуссий вокруг каждого конкретного имени, но оно неизбежно несло идеологический смысл. И благодаря тотальности (полностью упраздняясь советский период в топонимии), и тому, что эти акции проходили на фоне переоценки советской истории, воспринимались как часть этой переоценки, а многими сторонниками и аргументировались соответствующим образом. Естественно, «возвращение имен» было воспринято как идеократическая практика, инициаторы радикального упразднения советской топонимии смотрели на нее через оптику, аналогичную той, которой пользовались творцы этой топонимии – оптику Истории с большой буквы. Акции по «восстановлению имен» в начале девяностых годов предстали идейным реваншем. Сопротивление этому объяснялось нежеланием следовать команде «поворот вдруг». Случай Иркутска – один из наиболее показательных: в период перестройки в городе бурлила публичная политическая деятельность и сохранение советской идеологической топонимии в городе нельзя объяснить политическими убеждениями горожан – результаты выборов в девяностые годы не свидетельствуют об особых симпатиях к коммунистической идеологии. Важно обратить внимание на то, что отсутствие спешных акций по переименованию было сопротивлением Центру, сигналам, идущим извне. Но сопротивление осталось рефлекторным, не привело к общественной дискуссии. Результатом стало фактическое блокирование решения проблемы засилья советской топонимии и сохранение идеократического наследия в неприкосновенном виде.

Индифферентность к идеологическим знакам, укоренившимся в городской среде, и даже к факту такой укорененности, достаточно характерна для сибирских городов, и пример Иркутска позволяет увидеть, что речь не идет об идеологической зависимости. За два десятилетия, прошедших с начала радикальной ревизии в массовом сознании советской истории, в Иркутске, как и в других городах с аналогичной топонимической судьбой, засилье советизмов не раз вызывало инициативы по «возвращению имен». Но тема оказывалась актуальной, в основном, для иницировавших ее идейно-политических групп и историков, краеведов, лингвистов. Возникшие дискуссии не шли дальше обозначения позиции. Так, в предвыборной борьбе 2003 года Союз правых сил в Иркутске попытался вынести вопрос о десоветизации топонимии в центр повестки дня, но эта инициатива лидеров партии не нашла понимания даже среди партийного актива. Представителям руководства партии, которые в своих выступлениях перед однопартийцами и сочувствующими в Иркутске на собраниях и конференциях делали акцент на вопросе переименований, предъявляли обвинения, что они подменяют обсуждение реальных проблем, решений по которым не могут предложить, пустой риторикой. Акции протеста по поводу сохранения советской топонимии предприняли русские националисты, но и эти акции не стали массовыми. Не сформировалась, в свою очередь, и какая-либо общественная группа по защите от «переименований». В каждом из этих случаев дело не только в индифферентности иркутян по отношению к вопросу, а в том, что те, кто относится к проблеме не безразлично, не могут предложить решений.

Аргументацию отказа от переименований, которая формулируется в дебатах, трудно принять в качестве убедительного объяснения этой позиции. За двадцать лет «десоветизации» не появилось новых значимых аргументов. И не появилось именно потому, что

вопрос остается в контексте десоветизации. Это закрепляет патовую ситуацию противостояния идеологических оценок. Хотя шахматная метафора не очень уместна, поскольку противостояние носит бескомпромиссный характер. В результате, как альтернатива идеологическим выдвигаются прагматические доводы, никак не отвечающие на идеологические вопросы, и таким образом переводящие проблему из режима бескомпромиссного противостояния в риторическое поле, где идеологические аргументы не имеют силы. Перспектив решения это не дает, но позволяет отложить действия, сопряженные с политическими рисками. Доводы идеологии и доводы прагматики лежат в разных сферах человеческой жизни. Тема десоветизации, апеллирование к исторической справедливости лежит в плоскости отношения человека с историей. Обращение к доводам прагматики (как экономической, так и социолингвистической) – в мире повседневности.

Проблема топонимии – сфера не только прагматики и идеологии, это проблема исторической памяти, которая не сводится к идейной борьбе. Кажется, что это очевидный (если не банальный) тезис, но он не стал инструментальным – именно потому, что остался в пределах дихотомии советское/досоветское и не вышел на проблематику деколонизации. Концепция «мест памяти» привлекает к ним внимание как к формам отношения человека с историей, но если мы хотим сделать ее инструментальной, необходимо акцентировать и слово «место», то есть отношения человека с пространством. Собственно, превращение в «память-архив», когда «место памяти» не выполняет функций связи человека с прошлым (в лучшем случае – имитирует), и дает основание лингвистам, стоящим на принципиально прагматических позициях, игнорировать не только идеологические смыслы топонимов, но и их потенциал как «мест памяти». Возвращение имен – не возвращение прошлого, а возвращение топонимии к жизни. Бытие названий, ставших символами, непонятными большинству, «мертвыми», исключительно функционально. Как символы они мертвы или почти мертвы и все, что им остается – функции ориентирования в пространстве.

Имитация исторической памяти – одна из несущих конструкций идеократии и одно из самых значимых ее наследий. Последовательный идеологический подход апеллирует к необходимости восстановления исторической памяти, но неизбежно остается в пределах борьбы за симулякры, поскольку топонимы не выполняют роли «мест памяти». Здесь иркутский пример также показателен. Городские власти позже, чем во многих других городах, пошли на размещение на нескольких улицах табличек с обозначением их досоветских названий.

К этому решению администрация города была фактически принуждена настойчивыми акциями русских националистов, самостоятельно развешивавших самодельные таблички. В данном случае, инициаторы повторили модель демократии участия, опробованную ими при увековечивании памяти адмирала Колчака – в свое время власти были поставлены перед перспективой установки памятника на частном участке земли на территории города и вынуждены были сами выделить место, чтобы снизить идеологическое звучание акции. В результате увековечиванию памяти Колчака был придан официальный характер. В случае с дублированием топонимов администрация города пошла навстречу гораздо осторожнее и обеспечила

табличками с дореволюционными названиями всего лишь несколько центральных улиц. Решение проблемы, таким образом, скорее, имитируется, понимают это инициаторы или нет. Во многих городах таблички висят уже не один год, но дальнейшие шаги – легитимация дореволюционного или выбор названия – за единичными исключениями, не сделаны. Националисты проводят свои протестные акции под лозунгом «Очистим Иркутск от польских повстанцев и красных мадьяр», адресуя к соответствующим названиям улиц. Но если нынешняя улица Польских повстанцев носила ранее название Транспортной, а до советского переименования – Семинарской, то улица Красных Мадьяр носила до 1967 года название 2-й Советской, а до 1920 – Второй Иерусалимской. Ни то, ни другое название явно не устроят инициаторов переименования как не отвечающие «духу» их мировоззрения. Как быть с переименованием улицы Энгельса в Иркутске, которая до 1920 года была Жандармской? И стоит ли возвращать в Красноярске взамен уникального, хотя и не отвечающего законам топонимики, советского названия «улица Охраны Труда» название Верхнетюремная, хотя оно и отражает историю города и Сибири?

Дидактическая работа с «местами памяти» способна привлечь внимание к пересмотру истории, но не способна предложить решений, эмансипирующих историческую память от идеологии и, значит, национализирующих память (если следовать терминологии Пьера Нора).

Если «идеальный тип» города – самоорганизация горожан, живущих в рукотворном ландшафте, то преодоление моностилизма – условие возникновения города из поселения. Моностилизм в топонимии, навязанный советским администрированием – фактор, оттягивающий город в состояние поселения. Для человека традиционного общества – кочевника, земледельца, охотника – одушевлена природа, для горожанина – «вторая природа», среда, созданная человеком – если и не одушевлена, то, как минимум, вызывает эмоции, обсуждается, побуждает к активности словом и действием. Топонимия – часть этой «второй природы», среды обитания человека, созданной им самим. Если топонимия не выполняет функции коммеморации, то она не побуждает к диалогу, обедняет городскую среду и не участвует в складывании городского сообщества и в его воспроизводстве.

Топонимия актуализируется так или иначе как апелляция к городской идентичности и способ обращения к человеку. В рыночных условиях местный бизнес стал активно использовать годонимы, остракая их в названиях кафе, ресторанов, магазинов. В разных городах этот слой «языка улиц» эксплуатирует разные эпохи. В Иркутске преобладает обращение к дореволюционным именам⁹, в Красноярске в советских именах улиц выявляется семантика, которую не принимали во внимание ни в двадцатых годах, когда давались имена, ни в позднее советское время¹⁰.

Декolonизация и формирование гражданской нации тесно переплетены в феномене сибирской идентичности. Это идентичность территориальная, отвечающая гражданскому пониманию нации. Фиксация национальности «сибиряк» при переписи населения в 2010 году, интернет-кампания «Я-сибиряк» вызваны невозможностью и/или нежеланием определять себя в классификаторе этнического происхождения. Связано это и с городской идентичностью: сейчас «ядро» населения старых сибирских городов вновь составляют «коренные» горожане во втором-третьем поколении,

а во многих молодых городах – первое поколение уроженцев города. Ситуация сходна с той, которая была в Сибири в середине XIX века – исторической паузе между большими волнами колонизации. Это был ключевой для сибирского самосознания период, породивший областничество как движение и как мировоззрение. Областники исповедовали ценности европейской культуры и, утверждая идею самобытности Сибири, исходили из того, что Сибирь не только колония России, но и фронт европейской цивилизации. В последние десятилетия развилка самобытность / универсализм актуализировалась, что имеет непосредственное отношение к проблеме городской топонимии и будет одной из основных, если начнется конвенциональная работа с топонимией. Когда кризис советской идентичности в 1970-1980-х годах стал мощным импульсом обращения к прошлому, это обращение проходило как способ самозащиты культурного слоя в сибирских столицах, иногда с противопоставлением исторической памяти и модернизации. Другие города, выключенные из планов индустриализации, в том числе и некогда «передовые» (не только для Сибири, но и для России, в целом) Тобольск, Енисейск, Кяхта оказались оттесненными в провинцию «второго эшелона». Когда эти города стали «бесперспективными», историческое значение города, культивирование его прошлого оставалось, если не единственным, то самым весомым ресурсом, позволявшим художественной и гуманитарной интеллигенции обнаруживать экзистенциальные смыслы своего профессионального выбора. Активная борьба за сохранение примет исторического своеобразия была и остается шансом компенсировать дефицит культурного капитала в городе, вольно или невольно избранного для жизни. В постсоветскую эпоху своеобразие исторического города стало восприниматься еще и как шанс вписаться в рыночные отношения. Историческое значение города, необычность его прошлого кажутся патриотам бесспорным ресурсом, что рождает рискованные иллюзии: интерес внешнего мира к возрождению исторического величия воспринимается как аксиома. Это можно назвать «ловушкой своеобразия», поскольку именно культ своеобразия не позволяет сделать его фрагментом сегодняшнего дня, участником и ресурсом развития. Ловушка еще и потому, что инновационный потенциал патриотов города (как и вообще его жителей) ограничен привычными жизненными ритмами, особенностями социального времени в провинции «второго эшелона». Культ своеобразия – не само своеобразие, а именно его культ – оказывается помехой для открытости, и это сказывается на городской культуре в целом, которая может развиваться только в переплетении локального и всеобщего. Что касается топонимии, то советская унификация резко нарушила баланс в сторону универсума – обедненного, моностилистического «большого мира». Возвращение имен как радикальный принцип консервирует историческое «ядро» города, не организуя диалог, а противопоставляя одному стилю другой. Городская культура – диалог космоса и полиса, универсума и места. Работа над топонимией – это одна из тех сфер, в которых возможно искать баланс между «большим миром» и «самобытной историей», меру открытости и закрытости, что для города важно не только с точки зрения самочувствия гуманитариев, но и с точки зрения его, города, перспектив.

⁹ «Салон на Пестеревской», «Тихвинское колесо», Русинский рынок и т.п.

¹⁰ Так на улице Парижской коммуны, которая в советское время в обиходе (в т.ч. на официальных табличках и в маршрутах городского транспорта) сократилась до «улица П.Коммуны», предприниматели активно эксплуатируют смыслы, ассоциирующиеся с Парижем, парижским, французским.